

ЗАКОН, ЖЕЛАНИЕ И ОТЦОВСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Разрыв между Законом и желанием

Желание и Закон — два ключевых понятия в психоанализе, которые позволяют глубже понять нашу тему: что остается от отца, от отцовской функции в эпоху ее «испарения»? Союз Закона и желания точно определяет символическую функцию отцовства. Лакан обозначил ее буквально: *отец — тот, кто умеет объединять, а не противопоставлять Закон желанию*¹. Чтобы возникло желание, чтобы оно стало движущей силой существования, чтобы не утратить способность желать, — необходим Закон. Закон не как карательный орган, а как условие, определяющее возможность для существования желания. О каком Законе идет речь с точки зрения психоанализа? О том Законе, который устанавливает союз с желанием и который мы называем Законом *символической кастрации*. На страницах

этой книги мы будем настойчиво возвращаться к значению этого союза, который отцовская функция призвана восстановить.

Падение отцовского Образа и «испарение» отца — две разные версии разрыва узла, связывающего Закон и желание. Если в период тоталитаризма эта связь разрушается при торжестве безумного и вероломного Закона, убивающего желание — Закона Причины, воплощенного в гипнотическом взгляде вождя, то в новейшее время этот союз исчезает, уступая место ложному освобождению желания от Закона, что приводит к его деградации, чистой прихоти, навязчивому и беспорядочному наслаждению, лишенному желания. Если период тоталитаризма — это время параноидального отождествления с Причиной Истории, Природы, Нации, возвеличивания универсального (идеологического) Закона, который уничтожает любое уникальное желание, то современная эпоха — это циничное и извращенное время наслаждения, которое провозглашает свободу от любых ограничений, в том числе идеологических; это так называемое пост-идеологическое наслаждение.

Назад к «отцу семейства»?

Мы знавали времена, когда Закон спускался к нам с небес или вытекал из слова Божьего. Нам знакома «богословская» версия Закона. Однако эпоха религиозных обществ, основанных на этом статусе Закона, осталась далеко позади, и психоанализ внес свой вклад в разоблачение идеологических и морализаторских отклонений этой версии Закона. И тем не менее даже сегодня самые подготовленные недоброжелатели психоанализа обвиняют его в том, что он, выделяя нормативную функцию Эдипова Отца, тайно пытается восстановить именно эту «богословскую» версию Закона.

Если Закон не позволяет желанию скатиться в сторону блуждающей безрезультатности наслаждения, если Закон устанавливает предел безудержной и разрушительной тяге желания, не означает ли это, что психоанализ захочет обходными путями восстановить порядок репрессивной, патриархальной морали, порядок того Закона, который противостоит желанию с целью его искоренить или приспособить к действительности? Некоторые критики психоанализа предупреждали об этой опасности. Но тогда Закон, на который ссылается психоанализ, говоря о желании, по-прежнему имел

бы богословско-религиозную природу. Это все так же был бы авторитарный Закон *отца семейства*, который стал бы продолжением закона Бога-Отца и который снова поставил бы фрейдистского Эдипа в центр семейных и общественных отношений. Вместо того чтобы находить поддержку в Законе, желание по-прежнему было бы полностью подчинено ему. В таком случае был бы Закон кастрации чисто идеологическим алиби, скрывающим тот факт, что цель психоанализа — усмирить, привести к норме кочевой, блуждающий и бунтарский характер желания? Стало бы это выхолащиванием желания? Угрозой, направленной на желание, чтобы сократить его игровое пространство? Строгой заповедью, подавляющей противоправные действия желания?

Упомянутые критики не понимают глубинного значения Закона кастрации, который является принципиальным условием появления желания. Думать о Законе в его связи с кастрацией не означает попытку восстановить Закон, который действует против желания, это значит принимать, что Закон желания возникает на основе определения невозможного. Невозможное — это кровосмесительное наслаждение, наслаждение материнской Вещью как олицетворение абсолютного, ничем не сдер-

живаемого наслаждения, включая отказ от опыта ограничений. Если нет дистанции с этим абсолютным наслаждением, с тем, что является самым близким, с материнской Вещью², если нет запрета на кровосмесительный характер наслаждения, то нет никакой возможности для существования желания. Необходимо пережить первоначальную утрату, дифференциацию, ограничение, отдаление от материнской Вещи, чтобы возникло это желание: *принципиальным условием доступа к желанию является запрет на доступ к абсолютному наслаждению Вещью*. И запрет этот устанавливается прежде всего отцом, а уже потом действием языка и его законами. Погружение в язык необратимо отделяет нас от дикой Природы и от несбыточной мечты о наслаждении, которое исключает фильтрующее значение слова. Чтобы начать говорить, ребенок должен быть отлучен от груди, как писала Франсуаза Дольто, то есть потерять долю наслаждения, быть отделенным от первого объекта (груди) оральной страсти. Невозможно продолжать удерживать во рту Вещь-грудь и иметь доступ к символической функции слова. Одно непременно исключает другое. То есть, чтобы желание было введено в игру, ему требуется подготовленное, структурированное Законом кастрации поле. И этот Закон, упорядочивающий желание, является не только Законом

чистого запрета, но прежде всего *Законом* — *даром способности желать*. И это ключевой момент: запрет, наложенный отцом, всегда сопровождается даром. Но не с позиций когнитивно-бихевиористского метода «кну́та и пряника» (так называемой теории подкрепления), поскольку в наложении запрета *уже* кроется дар, а дарение, в свою очередь, *уже* подразумевает запрет; точно так же и Закон не противостоит желанию, а является условием его зарождения. В этом смысле Закон дарует возможность желания, которое *уже* открывает возможность для будущего, возможность оторваться от объекта сиюминутного наслаждения Вещью, от единого, или «унианского», наслаждения Вещью, как сказал бы Лакан.

Закон символического отсечения

Запрет, который подразумевает символическая кастрация, исключает возможность немедленно удовлетворения, отделяя субъект от Вещи, от самых близких, знакомых, смежных объектов, позволяет ему отправиться в более длительное путешествие, то есть способствует преобразению, созданию новых объектов и удовольствий³. Лакан

однажды поднял вопрос об определенной близости версии Закона как запрета и дарования с библейским Законом⁴. В чем может состоять эта близость? Он оставил вопрос открытым. Мы можем попытаться выделить хотя бы некоторые причины этой парадоксальной близости. Одной из них, без сомнения, является символическая функция Закона. В двенадцатой главе Бытия голос Бога призывает Авраама покинуть своих родных. Главное, о чем повелевает Господь, обращаясь к Аврааму, — необходимость расставания:

«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие, Глава 12, стих 1).

Гад Лернер в своем автобиографическом романе «Искры», в центр которого помещен конфликт сына и отца, «настоящего Лернера», пишет о двойственном значении этого призыва в интерпретации Торы. «Уходи» на иврите пишется через дефис *Lech-lechà* (Лех-леха). И это слово, разделенное на два слога, получает второй смысл — «Иди к себе!»⁵ Здесь важно отметить диалектическое сближение движения отделения с движением открытия. Ту же динамику мы наблюдаем в образе исхода. Чтобы достичь самопознания, нужно решиться на выкорчевывание, обособление, разрыв с Единым.

В древнем мифе об Адаме и Еве эта потребность звучит с новой силой: чтобы произошел процесс очеловечивания, необходим инструмент символической кастрации, утрата близости, разрыв кровосмесительных уз. В этом смысле библейский текст подтверждает, что язык — производное Бога. Потому что там, где доминирует Закон языка, существует разделение, действует запрет на наслаждение Вещью, есть человеческая жизнь. В этом смысле Лакан, ссылаясь на Гегеля, декларировал смертоносную функцию символа, который своим появлением окончательно добывает Вещь, открывая путь к увековечиванию желания⁶. Разве не об этой необходимости отсечения и о его животворящем действии повествует ветхозаветный текст из первой главы Бытия? Тот же смысл «отсечения» себя заложен в призыве, обращенном к Аврааму: «пойди из земли твоей... из дома отца твоего».

Слово отца, как мы видим, — это травма. Но травма, которая оказывает благотворное влияние, потому что прерывает порочную связь. Именно травма изгнания из Вещи формирует человека, «говорящее существо», как сказал бы Лакан. Как и в случае с Законом символической кастрации, библейский Закон не может быть сведен к своду правил, нор-

мативному регистру. Символический закон обеспечивает прежде всего уважение к невозможному. Устанавливает непреодолимый предел. То, что, по мнению антрополога Леви-Стросса, обеспечивает порядок семьи, поколений, половых отношений: нельзя наслаждаться ближним своим, иметь доступ к абсолютному наслаждению материнской Вещью! Для желания необходим исход. В библейском тексте Господь преграждает Адаму и Еве прямой доступ к вопросам добра и зла, запрещая им вкушать плоды с древа познания. Это, разумеется, не означает умерщвление духа познания, это стремление уберечь от иллюзии обладания бесконечным знанием, от процесса неограниченного присвоения тайны жизни. Запрет говорит о том, что невозможно избежать опыта предела, он есть условие познания, а не причина разочарования. Книга Бытия не случайно изобилует персонажами, чье высокомерие и гордыня толкают на преступление всех границ. Ни у Евы, ни у Каина, ни у жертв всемирного потопа, ни у строителей Вавилонской башни не было чувства предела, уважения к границам. Как справедливо было замечено, порочное слияние с Евой не позволяет Каину выносить какое-либо разочарование и толкает его к убийственной жестокости. Будучи объектом материнского

инцеста с Евой, Каину ничего не остается, кроме как стать убийцей своего брата⁷. Таким образом, как напоминает Лакан, он стремится уничтожить место своего отчуждения, физически устраняя Другого, который мешает ему обрести самодостаточность без долгов. Жест Каина может найти свое основание в жесте Нарцисса: отвергнутый предел, нарушенный статус существования, потеря себя в собственном отражении, стирание различий⁸.

Вызов Богу

Кровосмешение, насилие, высокомерие, мания величия, эгоцентризм в библейском тексте являются следствием отрицания символической кастрации, и в пороках этих выражен отказ от любой формы долга перед Другим. *Вызов Богу* выступает их общим знаменателем. С точки зрения психоанализа это еще и вызов законам языка, чье действие направлено на восполнение первоначальной утраты из-за первородного греха на заре очеловечивания жизни: нельзя иметь все, всем наслаждаться, все знать. Иными словами, нельзя овладеть тайной жизни и смерти. Столкновение с жизнью и смертью отменяет всякое знание, показывая принципиальную несостоятельность великого Другого.

Такова, например, позиция Уолта в фильме «Гран Торино» Клинта Иствуда, когда в беседе с приходским священником он придерживается позиции, что не существует абсолютного знания, включая религиозный догматизм, с помощью которого можно постичь смысл существования, скорее сама жизнь и смерть определяют границы познания. В этом смысле передача желания от одного поколения другому не может стать реализацией воспитательной программы с определенным набором ценностей и навыков, поскольку каждая передача базируется на невозможном: невозможности постичь абсолютную тайну жизни и смерти, невозможности обладать конечным знанием о жизни и смерти. И только на фоне этой пустоты, невозможности познания, может произойти передача. То, что остается от отца во времена его «испарения», как раз и охраняет эту пустоту. И единственное, что наверняка может передать отец свидетельства, — *саму невозможность этого знания*. Потому что на фоне этой невозможности открывается возможность воплотить свое желание, жизненно важное и способное приносить плоды. Если же это невозможное исключается, обходится в пользу всеобъемлющего и безупречного знания о жизни и смерти, то это уже становится не передачей, а идеологическим убеждением.